

Библиотека Классической Литературы

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
Хождение по мукам

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т52

Текст трилогии печатается по изданиям:

Книга I — «Сестры» — Москва, Издательство «Наука», 2012 г.
Книга II — «Восемнадцатый год»; Книга III «Хмурое утро» —
Алексей Толстой, Собрание сочинений в 10 томах, Москва,
Государственное издательство художественной литературы,
1958—1960 гг.

Серия «Библиотека всемирной литературы»

Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении суперобложки использованы фрагменты работ
художников *Ральфа Пикока* и *Ивана Владимиров*

Серия «Шедевры мировой классики»

Оформление *А. Саукова*

В оформлении обложки книги использован кадр из фильма
«Хождение по мукам», реж. В. Ордынский © Киноконцерн
«Мосфильм», 1977 г.

Серия «100 главных книг»

Оформление *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работ
художников *Харрисона Фишера*, *Бориса Кустодиева*,
Ивана Куликова и *Ивана Владимиров*

Толстой, Алексей Николаевич.

Т52 Хождение по мукам / Алексей Толстой. — Москва : Изда-
тельство «Э», 2018. — 800 с.

Знаменитая трилогия Алексея Толстого «Хождение по мукам» — захватывающее повествование о судьбах двух сестер, Кати и Даши Булавиных, на фоне масштабных исторических событий: во времена Первой мировой войны, двух революций, Гражданской войны. По словам самого автора, «Хождение по мукам» — хождение совести самого автора по страданиям, надеждам, восторгам и падениям, унынию, взлетам — ощущение целой огромной эпохи.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-091039-7

(Библиотека всемирной литературы)

ISBN 978-5-04-091045-8

(Шедевры мировой классики)

ISBN 978-5-04-091041-0

(100 главных книг)

© А.Н. Толстой, наследники, 2018

© Оформление.

ООО «Издательство «Э», 2018

Содержание

КНИГА 1
СЕСТРЫ

7

КНИГА 2
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

259

КНИГА 3
ХМУРОЕ УТРО

501

Книга 1

СЕСТРЫ

О, Русская земля!..

Слово о полку Игореве

I

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулочка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной подавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов, с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, — видя и вникая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный — начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее, унылое очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору — худую бабу и простоволосую, — сильно испугался и затем говаривал в кабаке: «Петербург, мол, быть пусту», — за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом — нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням Медный Император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец — мертвый чиновник. Много таких рассказней ходило по городу.

И, совсем еще недавно, поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мо-

стик, увидел сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Точно в бреду, наспех, построен был Петербург. Как сон, прошли два столетия: чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил всемирной силой и властью; бредовыми виденьями мелькали дворцовые перевороты, убийства Императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напиться кровью своею и духом петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли, и на рассвете — в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт — парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз Императора. — Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полубогаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до самого трона несчастнейшего из Императоров, дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик, с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движени-

ем. Но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждало и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, невращения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает, разгоряченное дьявольским любопытством, тело женщины, — вот в чем был пафос поэзии этих последних лет: смерть и сладострастие.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвестники, — новое и непонятное лезло изо всех щелей.

II

«...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим — довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что — ее можно кушать? Или она способствует рощению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием...»

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры.

Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик — историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженным черепом, с молодым, скуластым и желтым лицом, — Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и, когда спрашивали — откуда и кто такой? — знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин, приехал он из заграницы и выступал неспроста.

Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее залo, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить.

В это время, в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные, тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», — девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

«...А вы все еще грезите туманными снами о царствии Божием на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве. А он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадилъниц, — народ могут

разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь в Петербурге, в этом великолепном зале выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большою кровью...»

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздался голос:

- Пускай говорит!
- Безобразие закрывать человеку рот!
- Это издевательство!
- Тише вы, там сзади!
- Сами вы тише!

Акундин продолжал:

«...Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, пока не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, пока не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса, — ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов; и жадная, полужвериная жизнь. Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — человеческой фантазии. Нет. Мы говорим — идите и претворяйте идеи в жизнь. Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти...»

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, — она в этом уверена, — никого на свете, кроме себя, не любит, и если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека.

Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытер о платок и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком, черном сюртуке: худое, матовое лицо, брови

дугами, под ними, в тенях, огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто сновившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся, и улыбка простоватая, но в вырезях тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

«...Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем — когда она докатится до дна, до земли, — сила ее иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. “Жажду” — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги. И вы не дадите ему пить. Берегитесь, — Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, — в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм, одетый в шляпу, пиджак и с винтовкой за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция, — быть может, самая страшная из всех революций — революция Духа...»

Акундин холодно проговорил с места:

— Это предусмотрено...

Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами — Чирва — критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов;

одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав, который он во время разговора осторожно, но тщетно старался выпростать. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, тоже отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама, впала в фальшивое состояние. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные, длинные, черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

— Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

— То же, что и вы, — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал:

— Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли, — разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот его последний стишок:

Каждый молод, молод, молод.
В животе чертовский голод.
Будем лопать пустоту...

— Необыкновенно, ново и смело. Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, — новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот, тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, и все затрещит, полезет по швам, — очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь, Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых, с махающими дверями, сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, мужики-извозчики и весело и нагло предлагались выходящим:

— Вот на резвой, ваше сась!